ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ

книга первая

# ЛИШНИЙ

ХОДОРЕВ СЕРГЕЙ

18+

Сергей Ходорев

# Жизнь Сергея книга первая лишний

«Автор»
2026

**Ходорев С.**

Жизнь Сергея книга первая лишний / С. Ходорев — «Автор», 2026

Сергею сорок один. Он лежит в больничной палате уже полтора года — прикованный к кровати, с потолком, на котором двадцать шесть плиток и одна трещина, ставшая единственным пейзажем. Ночами память ведёт его назад — на север, в 1992 год, в жизнь тринадцатилетнего мальчишки, у которого не было дома.Барак и ночёвки под чужой лестницей. Сорок градусов за окном и ворованные коврики вместо одеяла. Гаражи, приёмный покой после побега по верёвке, побеги из дома с шести лет. Мальчишка, который был пятым в семье из четырёх — и которого нет на единственной семейной фотографии.Он не просил у родителей помощи ни разу в жизни — и не умеет просить до сих пор. Он воровал не потому, что хотел, а потому что был голоден. Это история без прикрас и без оправданий. Горькая, неровная, местами стыдная — но настоящая. История о том, как выживает ребёнок, которому не нашлось места, — и о том, что «лишний» — не приговор, если хватило сил дожить до вопроса: а для чего я всё-таки жил?

© Ходорев С., 2026
© Автор, 2026

# Сергей Ходорев
# Жизнь Сергея книга первая лишний

**ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ. КНИГА ПЕРВАЯ. ЛИШНИЙ**
**Ходорев Сергей**

**Пролог**

Сергею уже 41 год. Кажется, сама цифра звучит как приговор — столько всего должно было успеть случиться, столько дорог должно было пройти, столько раз жизнь должна была дать шанс всё исправить. Но жизнь изрядно потрепала Сергея, и вряд ли можно сказать, что у Господа на него были какие-то светлые планы. Он и сам в это давно не верит.

Сорок один год. Если произнести это вслух, получается совсем короткая фраза — два слова, несколько слогов, и всё. А за этими слогами — целая жизнь, прожитая так, что иной раз и не хочется, потому что там, позади, ничего такого, из-за чего хотелось бы обернуться. Разве что тащит за собой, как прицеп на буксире, груз воспоминаний, которые и выбросить нельзя, и носить тяжело.

Всю жизнь Сергей задаётся одним и тем же вопросом, который крутится в голове, как заезженная пластинка, и не даёт покоя ни днём, ни ночью: для чего он живёт на этом свете? И пусть его всю жизнь оберегает ангел-хранитель — а Сергей в глубине души даже благодарен ему за это, ведь сколько раз он был на волоске от гибели, — этот вопрос никуда не уходит. Он звучит в нём каждый день, тихий, упрямый, невыносимый: «Для чего?»

Иногда, в бессонные ночи, когда больничная тишина давит особенно сильно, он пытается отмахнуться от этого вопроса, как от мухи — но тот возвращается, садится на плечо и шепчет опять. Не громко, не требовательно — а так, ровно, монотонно, как капает вода из крана, которую никак не закрутить до конца. И Сергей перестаёт сопротивляться, просто лежит и слушает этот шёпот, потому что ответа у него нет, а тишина без вопроса была бы ещё страшнее — в ней вообще ничего нет.

Сейчас он прикован к кровати. Уже полтора года. Больничная палата стала его миром: четыре стены, окно, за которым меняются времена года, но почти не меняется пейзаж, и кровать, которая теперь решает за него, где он может быть и чего может хотеть. Бурная, жестокая, торопливая жизнь берёт своё: раскрошились позвонки, тело, столько раз выдерживавшее удары судьбы, наконец сдалось. Теперь он лишён даже малейшей самостоятельности. Каждый поворот головы, каждый вздох даются с трудом, а о том, чтобы встать, не может быть и речи.

Палата — маленькая, стандартная, каких тысячи в больницах по всей стране. Потолок с трещиной, которая за полтора года стала ему знакомой, как родинка на лице близкого человека. Шкафчик у кроваты, на котором стоят пластиковый стаканчик с водой и часы — единственные его вещи, которые он может назвать своими. За дверью — коридор, по которому ходят медсёстры, шуршат их тапочки, иногда кто-то громко разговаривает по телефону, не стесняясь больных. А Сергей лежит и слушает этот чужой, далёкий мир, который живёт своей жизнью, совершенно не нуждаясь в нём.

Лёжа в этой тишине, нарушаемой только шагами медсестёр и писком приборов, Сергей перебирает в памяти обрывки прошлого. Он вспоминает то, что помнит из своей молодости, и хочет донести до читателя простую и горькую правду: жизнь далеко не всегда бывает прекрасной и доброй. Она бывает несправедливой, холодной, безжалостной — и именно такой она была к нему.

Память — странная вещь. Она не идёт по порядку, не раскрывает страницы одну за другой, как аккуратная книга. Она выхватывает куски — иногда яркие, до рези в глазах, иногда мутные, словно в разбитом зеркале. И Сергей не может выбрать, что вспомнить, а что убрать:

память решает за него. Она приносит то запах мороза на северной улице, то боль в обожжённых ладонях, то голос матери — сухой, без единой теплой ноты — и тогда он просит: хватит, не надо больше. Но память не умеет останавливаться.

Он хочет опровергнуть расхожее убеждение, будто мать не может не любить своего ребёнка. Хочет показать, что бывает и по-другому, и что эта другая сторона тоже имеет право быть увиденной. Не для того, чтобы кого-то обвинить, а чтобы кто-то, возможно, читая эти строки, понял: он не один такой, кому не хватило любви, кому приходилось выживать, а не жить.

Родители Сергея живы. Это само по себе могло бы звучать как утешение, но для него это не утешение, а ещё одна тяжесть. Мать по сей день с ним не разговаривает — будто между ними не годы, а глухая, непробиваемая стена. А отец ничем не в силах помочь: и потому, что не знает, как, и потому, что сам давно привык жить с этой тишиной. При этом Сергей за всю свою жизнь ни разу не просил у них поддержки — ни когда был мальчишкой, ни когда стал взрослым, ни сейчас, когда оказался в самом уязвимом своём состоянии.

Гордость? Обида? Привычка справляться в одиночку? Наверное, всё вместе. Так и течёт его жизнь: в тишине, в воспоминаниях, в попытках осмыслить пройденный путь.

Иногда он думает: а если бы попросил — что было бы? Если бы пришёл к отцу, сел напротив и сказал: «Помоги мне, я не справляюсь»? Но он даже представить себе это не может — не потому, что отец обязательно отказал бы, а потому, что за всю жизнь у него не возникло привычки просить. Не выросла в нём эта способность — как не вырастает дерево в горшке, где нет земли. И теперь, когда он лежит и физически не может поднять руку, ему кажется, что именно этого — умения попросить — ему не хватило больше всего. Не денег, не здоровья, а простого, детского: «Пап, помоги».

Впереди — рассказы о его молодости. Там будет много непростого: и воровство, и жестокость, и решения, продиктованные безысходностью. Но Сергей не стремится ничего приукрасить. Он просто хочет честно рассказать, как всё было: ему тогда просто некуда было деваться. И если ты, читатель, ждёшь красивой истории с хорошим концом — её здесь не будет. Будет правда. Горькая, неровная, местами стыдная, местами невыносимая, но настоящая. Я не буду сглаживать углы и подстраиваться под чужие ожидания. Хочу лишь постараться рассказать всё так, как помню, без прикрас и без оправданий. И если эти истории окажутся тебе интересны — я буду благодарен.

Двор у барака был как забытая сценка из чужой жизни: ржавая кровать, стоявшая посреди сугроба металлическим скелетом, пустая собачья будка, из которой ветер выносил всё, что туда пытались положить, и спиленные качели, от которых остались только столбы с петлями. Сергей смотрел на эту будку и думал: и собакам здесь не живётся. Ирония была горькая, почти не шутка. По бараку он ходил на цыпочках не только из страха быть услышанным — у него давно выработалась походка без звука, как у кота, и это тоже умение, которое не появляется просто так: оно появляется там, где любой звук может стоить слишком дорого. Он помнил, как однажды зимой, года два назад, скрипнула под ним ступенька, — и как после этого он неделю обходил тот дом стороной, хотя ничего не случилось, никто не вышел, никто не заметил. Просто страх тогда поселился в нём надолго, как живёт в доме паук: тихий, невидимый, но в каждом углу.

Мороз в такие ночи звенел — не метафора, а настоящее звенение: воздух звенел, металл звенел, снег под ногами звенел, как рассыпанное стекло. Звук был тонкий, высокий, на пределе слышимости, и от него начинала болеть голова — не сразу, а через час, через два, когда мороз уже входил внутрь и садился где-то за грудиной. Сергей знал этот звук наизусть и знал, что после него приходит сонливость — коварная, тёплая, сладкая, — и что засыпать на морозе нельзя: заснёшь — не встанешь. Он боролся со сновидностью, как борются с желанием закрыть глаза под водой: ущипнул себя за руку — не помогло; укусил за щёку — не помогло; начал

считать шаги — сто, двести, триста — и это помогало, потому что счёт держал голову живой. Он шёл и считал, и мороз звенел, и город был пуст, как декорация после спектакля, и где-то там, за углом, должен был быть его барак — тёмный, холодный, но всё-таки его.

К утру у него уже был план — не смелый, а осторожный, такой, какой вырабатывается у того, кто ошибался и помнил цену ошибок. Найти днём работу — мыть полы, таскать коробки, разгружать что угодно, — на день, на два, чтобы были деньги на еду. Ночевать — в бараке, пока не выгонят, потом в другом месте. Не воровать, пока есть хоть какой-то другой путь, — не из морали, а из расчёта: за воровство могли поймать, а поймали — участок, а с участка — инспекция, а с инспекции — интернат, а из интерната он уже знал, что будет. План был простой, как список продуктов, и держался на одной опоре: не попадаться. Он повторял его себе, как повторяют пароль: не попадаться, не попадаться, не попадаться.

**Глава 1. Сорок градусов**

Ночь накрыла северный город плотной, ледяной вуалью. Сергей брёл по тёмным улицам, и каждый его шаг отдавался в стылом воздухе сухим хрустом — будто сама зима ломала под подошвами тонкую корку наста. Мороз кусался безжалостно: термометр у магазина тускло светил цифрами, и там было минус 40. Для этих краёв такой холод был привычным, почти будничным, но для мальчишки он стал врагом, который не давал ни секунды покоя.

Сорок ниже нуля — цифра, которая в учебнике физики выглядит как строчка из таблицы, а на лице, на руках, в лёгких ощущается как удар. Дыхание тут же превращается в колючий пар, ресницы слипаются от инея, а кончики пальцев, если не прятать их в рукава, через несколько минут перестают слушаться — немеют, деревенеют, и ты с ужасом понимаешь, что уже не чувствуешь, где твои руки, а где куртка. Город в такую ночь не живёт — он стерпит, он переждёт, как медведь в берлоге. Редкие окна тлеют тусклым светом, а уличные фонари стоят, как часовые, обросшие инеем, и их свет почти не пробивается сквозь морозную дымку.

Он шёл и ломал голову: где бы сегодня найти хоть каплю тепла, где переждать эту бесконечную ночь. Ветер цеплялся за тонкую куртку, пробирался сквозь швы, заставлял ёжиться и ускорять шаг, хотя сил почти не осталось. Пальцы ныли, будто внутри них уже поселилась собственная, отдельная боль, независимая от остального тела. Он сжимал кулаки, пытаясь удержать хоть крупицу тепла, но мороз только смеялся над этой попыткой.

Куртка была совсем тонкая, из тех, что покупают не для севера, а для прогулок по осеннему парку где-нибудь на юге. Она давно отслужила свой срок: молния на половину не закрывалась, подкладка вылезла и свисала лохмотьями, а в рукаве, у самого манжета, зияла дыра, через которую ветер залезал, как рука в перчатку. Сергей прижимал локти к бокам, стараясь уменьшить площадь, которую ветер мог достать, и шагал, шагал — не потому, что знал куда, а потому, что стоять на месте означало замёрзнуть окончательно.

Наконец взгляд зацепился за двухэтажный барак — потемневший, покосившийся, будто уставший сопротивляться времени и холоду. В окнах не горел ни один свет, и это было даже хорошо: значит, люди спали, а значит, меньше шансов, что кто-то заметит мальчишку и прогонит.

Барак стоял чуть в стороне от дороги, за покосившимся забором, из-за которого торчали сухие стебли бурьяна, торчащие вверх, как антенны, замёрзшие в одном положении. Стены его давно потеряли первоначальный цвет — то ли серый, то ли коричневый, а теперь просто тёмные, с потёками от дождей и снега, с облупившейся штукатуркой, под которой виднелась серая, как кожа старика, кладка. Крыша местами провалилась, и через дыры шёл пар — значит, где-то внутри, в какой-то из квартир, топили печку. Но на лестнице, куда Серёга направил свои шаги, тепла не было.

Где-то наверху, на втором этаже, скрипнула половица — тонко, протяжно, будто кто-то осторожно ступил, стараясь не разбудить спящих. Серёга замер, прижался к стене, прислушался. Тишина. Может, кошка, может, ветер раскачал дверь. Он подождал ещё минуту —

ничего. Только его собственное дыхание, которое он пытался сделать тише, незаметнее, будто и его звук мог кого-то выдать.

Воздух в бараке был особый — спёртый, тяжёлый, с запахом старой штукатурки, сырого дерева и чужой еды, которая готовилась где-то за стенами. Этот запах был знакомый — Серёга знал его по подъездам, по подвалам, по всем местам, где люди жили тесно и бедно. Но сейчас даже этот запах казался теплом, потому что на улице пахло только морозом и металлом.

Внутри было не намного лучше, чем на улице: температура отличалась лишь тем, что здесь не свистел ветер, не швырял в лицо колючую снежную пыль. Тишина стояла глухая, тяжёлая, будто дом затаил дыхание. Мальчишка поднялся на второй этаж, медленно прошёлся вдоль дверей, собирая коврики, брошенные у порогов, — они пахли пылью и чужим бытом, но сейчас это был единственный шанс сберечь остатки тепла. Он старался не думать о том, что берёт чужое: мысль об этом только добавляла тяжести, а ему и без того было тяжело.

Коврики были разные: один — войлочный, грубый, колючий, серо-бурый, с подпалинами; другой — резиновый, с ячейками, в которые набился песок и мелкий сор; третий — совсем тонкий, тряпичный, но зато мягкий. Сергей складывал их стопкой, прижимая к груди, и шёл дальше, стараясь ступать как можно тише. Один раз где-то за дверью хлопнул замок — и он замер, не дыша, прижавшись спиной к стене, с ковриками на груди, как боец с щитом. Прошла минута, другая — тишина. Он выдохнул и двинулся дальше.

Потом он спустился вниз и отнёс свою добычу под лестницу, спрятав так, чтобы утром, когда люди пойдут на работу, никто не заметил пропажи. Он разложил часть ковриков на полу, а остальными укутал ноги, будто пытаясь обмануть мороз, убедить его, что тут есть хоть какое-то укрытие. В кармане нашлась сухая корка хлеба — вчерашний остаток, жёсткая, почти каменная. Он грыз её медленно, стараясь растянуть этот скудный ужин, и, насытившись хотя бы на мгновение, залез в куртку с головой, до самого верха застегнув молнию. Так он устроился на ночлег. Но сном это назвать было нельзя: лишь короткая, тревожная дремота, когда тело вздрагивает от каждого шороха, а холод всё равно пробирается под ткань, сковывая мышцы. Ночь тянулась медленно, будто издеваясь над его усталостью.

Он лежал и думал: вот, значит, так. Ему десять лет, а его жизнь — это подбор ковриков у чужих дверей, сухая корка хлеба в кармане и ночлег под лестницей. И он не мог понять, почему так вышло. Не то чтобы он искал виноватых — он просто не понимал. Другие дети спали дома, в кроватях, под одеялами, а он — под лестницей, и это казалось ему не обидой даже, а чем-то нормальным, будто так и должно было быть. И от этого — от того, что это казалось нормальным, — было страшнее всего.

Под лестницей было темно — абсолютно, до звона в ушах. Где-то наверху, на площадке между этажами, капала вода из проржавевшей трубы: кап — и тишина, кап — и опять тишина, каждый капель — как удар метронома, отмеряющего время, которое не двигалось. Сергей лежал, свернувшись калачиком, обняв себя руками, и пытался представить, что ему тепло — что он лежит не под лестницей в чужом бараке, а дома, в кровати, под одеялом. Но образ дома не держался — рассыпался, как мокрый картон. Дома у него не было одеяла, которое грело бы. Дома не было вообще.

В шесть утра он снова открыл глаза — не столько проснулся, сколько сдался перед неизбежностью нового дня. Кости ломило так, будто за ночь мороз успел проникнуть прямо внутрь, стянуть суставы ледяной коркой. Каждый шаг отдавался тупой болью, но он всё равно пошёл к ближайшей остановке.

Утро наступило, но не принесло с собой тепла. Небо было серым, низким, как потолок в подвале, и от него шёл такой холод, будто оно было не небом, а крышкой гигантского холодильника. Серёга поднялся, отряхнул с ковриков налипший сор, осторожно выглянул из-под лестницы — не видно ли кого. Двор был пуст. Он перекинул коврики на место, где они лежали

— авось никто не заметит, что их двигали, — и вышел на улицу. Мороз ударил в лицо, как мокрой ладонью: мгновенно заледенели щёки, нос, лоб. Он опустил голову и пошёл.

Автобус ПАЗ пришёл, лязгнув дверьми, будто ворча на ранний час. Мальчишка пробрался к заднему ряду и сел там, где сбоку у стены была батарея. Тёплый металл отдавал слабое, но такое нужное тепло. Он прижался к нему, чувствуя, как понемногу отпускает сковавшая тело стужа, и снова провалился в сон — на этот раз глубже, спокойнее. Так и проспал до обеда, до тех самых двенадцати часов, когда город уже вовсю шумел, жил, спешил по своим делам.

ПАЗ был старый, раздолбанный, с треснувшими стёклами, залепленными скотчем, и с сиденьями, обтянутыми потёртым дерматином, из которого торчал жёлтый поролон. Внутри пахло бензином, мокрой обувью и застарелым табаком. Но Серёге этот автобус казался раем — здесь было тепло, здесь можно было сидеть, а не идти, и здесь не было ветра. Он прижался щекой к тёплому металлу батареи и закрыл глаза, и на какое-то время — впервые за долгие часы — его тело расслабилось, отпустило, будто сказало: ну вот, теперь можно немного отдохнуть.

Водитель автобуса — мужик лет пятидесяти, с красным, обветренным лицом и сигаретой за ухом — посмотрел в зеркало заднего вида на мальчишку, который жался к батарее, и ничего не сказал. Может, видел таких каждый день. Может, и сам когда-то был таким. Просто вёл свой маршрут, остановка за остановкой, и дверь открывалась, и дверь закрывалась, и люди входили и выходили, и никто не замечал мальчишку на заднем сиденье, который спал, прижавшись щекой к тёплому металлу, будто это было самое дорогое, что у него было.

Один раз, когда автобус остановился на конечной, водитель обернулся и сказал:

— Эй, пацан, конечная. Выходить надо.

Серёга открыл глаза, непонимающе посмотрел — где я? — и вспомнил. Автобус. Батарея. Тепло. Он не хотел выходить. Хотел остаться тут, в этом тепле, в этом запахе бензина и старого дерматина, навсегда. Но вышел. Потому что надо.

— Спасибо, — тихо сказал он, и водитель кивнул, и дверь за ним закрылась, и автобус уехал, и Серёга остался стоять на остановке, и тепло уходило из тела, как вода из дырявого ведра — быстро, безвозвратно.

Раньше в таких автобусах было проще: проезд был бесплатным, а водители не прогоняли тех, кто просто хотел согреться. Теперь всё изменилось, но привычка искать тепло осталась. Когда солнце поднялось выше, а батарея остыла, мальчишка снова встал, размял затёкшие плечи и пошёл по своим невесёлым делам — искать, где бы раздобыть хоть что-то, чтобы протянуть ещё один день.

День у Серёги как-то сразу не задался — словно сама осень цеплялась за город холодными пальцами и тянула из него последние силы. А годы и правда стояли не сытые: 1992-й, время, когда привычный мир будто треснул по швам, и каждый выживал как умел. Денег почти не было, а где заработать подростку в маленьком северном городке — вопрос без ответа. И от этой пустоты в кармане и в будущем становилось особенно горько.

1992-й. Год, когда взрослые ходили с потерянными лицами, когда магазины стояли с пустыми витринами, как люди с пустыми глазами, когда зарплата, если и приходила, то не деньгами, а какими-то талонами, которые иной раз и потратить-то было не на что. Страна менялась, ломалась, перестраивалась — а на периферии, в маленьких северных городках, от этой перестройки оставалось только эхо: закрытые предприятия, пьяные мужчины, женщины с серыми лицами в очередях за хлебом. И посреди всего этого — мальчишки вроде Серёги, которые не понимали, что происходит, а просто хотели есть.

Но Серёге сегодня хоть немного повезло: в пекарне он ухитрился стащить свежий, ещё горячий батон — такой, что от него шёл густой, хлебный дух, и даже в промозглом воздухе этот запах казался чем-то почти волшебным. А на рынке, у зазевавшейся продавщицы, он ловко прихватил пару яблок — твёрдых, кисловатых, но настоящих, не пластмассовых, как в витри-

нах пустых магазинов. С этим скудным уловом он и бродил по улицам до самого вечера, пряча батон под куртку, чтобы тот хоть немного дольше хранил тепло. И всё равно от этого тепла было как-то совсем мало толку — оно быстро уходило, оставляя после себя только сожаление о том, что жизнь стала такой жалкой и мелкой: радоваться куску хлеба, как большому подарку.

Украв батон, он не чувствовал ни радости, ни стыда — только голод, который наконец-то получил хоть что-то. Хлеб был ещё тёплый, мягкий, и корка его, золотисто-румяная, хрустела под зубами с тихим, уютным звуком, который стоял в ушах, заглушая всё остальное. Серёга ел быстро, жадно, отламывая куски и засовывая их в рот, пока никто не увидел, и почти физически ощущал, как тепло от хлеба разливается по телу — по пищеводу, по желудку, по рукам — и на минуту ему стало почти хорошо. Почти. А яблоки он приберёг на потом — на вечер, когда снова станет совсем тоскливо.

К вечеру город будто съёжился от холода: фонари горели тускло, их свет тонул в густых сумерках, а редкие прохожие кутались в пальто и спешили мимо, не глядя по сторонам. Серёга знал, куда идти. Он направился к знакомому кафе — тому самому, куда когда-то его привёз дядя Саша, человек в городе уважаемый и большой. Дядя тогда сказал хозяевам: «Если этот мальчишка придёт — кормите. Хоть суп, хоть кусок хлеба, но не прогоняйте». И с тех пор в этом кафе его тихо подкармливали, не задавая лишних вопросов.

Официантка — немолодая, с усталым лицом и быстрыми руками — увидела его в дверях и кивнула, будто ждала. Не улыбнулась, не сказала «здравствуй» — просто кивнула и пошла на кухню, и через минуту поставила перед ним тарелку супа — горячего, густого, с картошкой и лапшой, и запах от него шёл такой, что у Серёги защипало в глазах, и он быстро опустил голову, чтобы никто не увидел.

— Ешь, — сказала она коротко и ушла, и Серёга ел — медленно, потому что торопиться было нельзя: желудок, пустой с утра, мог не принять. Он ел и слушал, как за столом напротив двое мужиков спорят о чём-то.

— Я тебе говорю, Колька, не будет ничего. Ни работы, ни денег. Всё развалилось.

— А я тебе говорю — выправится. Всегда выправлялось.

— Когда? Когда выправлялось? После войны? Так тогда хоть страну восстанавливали, а сейчас что? Страну разбирают, как дом по брёвнышку.

Серёга слушал и думал: вот, значит, о чём говорят взрослые. О стране, о работе, о деньгах. А он думал о том, будет ли завтра суп. И, может быть, в этом была его правда — она была проще, жёстче, ближе к земле, чем все их разговоры.

Кафе называлось простым, незатейливым именем, которое Серёга давно запомнил, — и не потому, что вывеска была красивой, а потому, что за этой вывеской его ждала тарелка горячего супа, и это было важнее любого названия. Дядя Саша был из тех людей, которые в маленьком городе значат больше, чем чиновники: его знали, уважали, и если он просил — отказывать ему не приходило в голову. Серёга не знал, почему дядя Саша так поступил — из жалости, из памяти о чём-то своём, или просто потому, что был человеком, — но он был благодарен. Не говорил об этом, не выражал словами — просто помнил.

Там он и просидел какое-то время: слушал музыку из старого проигрывателя, смотрел на усталых, немного потерянных людей, на пьяных мужчин, на девушек, которые смеялись слишком громко, будто пытались заглушить собственную тревогу. И ему становилось особенно горько от того, что он тут лишний, что его подкармливают из жалости, а не потому, что кому-то по-настоящему есть до него дело. В такие минуты ему хотелось просто исчезнуть, раствориться в полумраке зала, чтобы никто не замечал его присутствия. Но он сидел и терпел, потому что другого места у него не было.

Проигрыватель в кафе был старый, с крутящимся диском, на котором стояла потёртая пластинка. Игла скрипела, и музыка шла с шорохом, с потрескиванием, словно пробивалась сквозь толщу времени. Серёга не помнил, что играло — что-то медленное, тягучее, под кото-

рое хорошо было сидеть и ни о чём не думать. А вокруг сидели люди, и у каждого была своя история, своя усталость, своя причина пить в кафе в такой вечер. Один мужик, с красным, обветренным лицом, сидел в углу и методично, молча, опрокидывал рюмку за рюмкой, не закусывая, глядя в одну точку. Две женщины средних лет о чём-то шептались, наклонившись друг к другу, и из их разговора долетали обрывки: «долги», «бросил», «некуда идти». Серёга слушал — не потому, что хотел подслушивать, а потому, что в этом шёпоте была жизнь, а у него своей жизни не было.

**Глава 2. Гаражный кооператив**

Гаражный кооператив стоял на окраине, в стороне от редких фонарей, и в темноте казался чередой серых, угрюмых коробок. Серёга шёл осторожно, прислушиваясь к каждому шороху: к скрипу веток, к далёкому лаю собаки, к собственному неровному дыханию. Он выбрал гараж, который выглядел чуть менее надёжным, чем остальные, — с погнутой дверью и старыми петлями. И в этот момент ему вдруг стало невыносимо жаль самого себя: жаль, что он крадётся по тёмным улицам, как чужой, как вор, хотя всего лишь хочет не остаться голодным.

Кооператив тянулся длинной лентой вдоль заброшенной дороги, которая летом, может, и вела куда-то, а зимой просто терялась в снегу, как нить, обрезанная ножницами. Гаражи стояли рядами — железные, бетонные, кое-где кирпичные, — и каждый был похож на соседнего, как близнецы в очереди на паспорт. Некоторые выглядели крепко: новые замки, свежая краска, ровные крыши — хозяева заботились. Другие покосились, заросли снегом по самую щель, и было ясно, что их не открывали уже давно. Серёга выбрал один из таких — не самый заброшенный, но и не из тех, что защищены, как сейф. Сердце билось ровно, но тяжело, как будто вместе с кровью по венам тек свинец.

Сначала он аккуратно подсовывал под нижний край железной двери тонкие бруски, отгибая металл миллиметр за миллиметром. Работа была тихой, но напряжённой: малейший лязг мог привлечь внимание, и тогда всё пропало бы. Когда щель стала достаточно широкой, чтобы просунуть руку, он начал нащупывать нижние засовы. Пальцы мёрзли, но он не обращал на это внимания — главное было успеть до того, как город начнёт просыпаться. И с каждым движением ему становилось всё тяжелее: он будто чувствовал, как вместе с отогнутым железом гнётся и его собственная жизнь, сворачиваясь в какой-то неправильный, кривой угол.

Бруски он заготовил заранее — наломал их от старой поленницы у барака, где ночевал. Тонкие, ровные, сухие — они подходили как рычаги: вставил, надавил, чуть сдвинул — вынул, переставил дальше. И так, сантиметр за сантиметром, он отгибал нижний край двери, как открывают консервную банку: медленно, мучительно, боясь, что в любой момент металл лязгнет, и тогда — всё. Руки у него были тренированные — не от спорта, а от жизни: он давно привык работать руками, и пальцы у него были крепкие, цепкие, как у человека, который с детства лазал по заборам и деревьям. Но мороз делал своё: пальцы деревенели, плохо слушались, и дважды он едва не выронил брусок, и каждый раз сердце делало лишний удар.

Постепенно ему удалось сдвинуть засов, и дверь чуть приоткрылась. Теперь нужно было расширить проём: он снова подсовывал бруски, осторожно отгибая края, чтобы между створками образовался проход. Наконец, когда щель стала достаточно большой, Серёга протиснулся внутрь боком, стараясь не задеть ничего лишнего и не издать ни звука.

Он втиснулся в гараж, как письмо в щель почтового ящика, — боком, втянув живот, придерживая куртку, чтобы не зацепилась за край и не звякнула чем-нибудь. Несколько секунд он стоял, не двигаясь, привыкая к темноте, к запаху, к новым звукам — или, точнее, к отсутствию звуков. Только его собственное дыхание, тяжёлое, с присвистом, и стук сердца в ушах — так громко, что казалось, его слышно на всю улицу.

Внутри пахло машинным маслом, пылью и старым железом. В тусклом свете уличного фонаря, пробивавшемся сквозь щели, он быстро огляделся: на полках стояли коробки, на стене висели инструменты, где-то в углу темнел ящик с запчастями. Серёга действовал быстро и

чётко: он собирал то, что можно унести сразу и легко продать, — циркулярку, пару рабочих инструментов, электрический насос для машины, небольшую аптечку. Всё это он складывал в узел из старой куртки, стараясь уместить как можно больше, но так, чтобы не потерять в дороге. И при этом в груди всё сильнее разрасталась тихая, горькая обида: ему хотелось, чтобы всё было по-другому, чтобы ему не приходилось красть, чтобы кто-нибудь просто подошёл и сказал: «Держи, тебе нужнее».

Он двигался по гаражу, как по минному полю — осторожно, чётко, быстро. Глаза давно привыкли к темноте, и он уже различал очертания: вот верстак, на нём — тиски, ключи, разложенные по размеру; вон стеллаж, с коробками, в которых, судя по весу, лежали запчасти — тяжёлые, железные, но за них много не выручишь, лучше брать то, что лёгкое и ходовое. Циркулярную пилу он взял первой — она лежала прямо на верстаке, и он сразу понял, что за неё дадут хорошие деньги: вещь нужная, дефицитная, любой мастер возьмёт. Насос — тоже удача: у таксистов постоянно ломаются, а новые стоят дорого. Аптечку он прихватил на всякий случай — мало ли, вдруг найдётся покупатель. Руки работали, а голова была где-то в стороне — будто он наблюдал за собой со стороны, как за персонажем чужой, не своей истории.

Он знал: к трём часам нужно уйти. На севере люди встают рано: ещё до рассвета они выходят прогревать машины, стучат дверями гаражей, разговаривают между собой. Лишний риск был ни к чему. Собрав добычу, Серёга выбрался наружу, аккуратно прикрыв за собой дверь, и направился в укромное место, где у него был устроен тайник. Там он спрятал узел, отметив про себя, что утром можно будет попробовать сбыть вещи таксистам — те всегда нуждались в инструментах и часто не задавали лишних вопросов. Но даже эта мысль не грела: она лишь подчёркивала, насколько узкой и одинокой стала его дорога.

Тайник у него был устроен в старой водосточной трубе, заледеневшей и отломанной у основания, за сараем, который стоял на пустыре между гаражами и ближайшим домом. Туда он и засунул узел, прикрыв его обломками кирпича и снегом — получилось так, что со стороны ничего не видно. Он постоял минуту, переводя дыхание, посмотрел на небо — низкое, тяжёлое, без единой звезды, как будто небо тоже устало и хотело спать. И пошёл.

Остаток ночи он провёл в подъезде старого дома: сел на бетонные ступеньки, где холод пробирался сквозь одежду, и попытался немного подремать. Пальцы и спина уже ныли от холода, но выбора не было. Он курил подобранные окурки, собирая их по углам подъезда, и думал о том, что завтра будет новый день — и, возможно, чуть менее голодный. Но от этого «чуть» становилось только горше: ведь и это «чуть» приходилось вырывать у жизни силой.

Окурки попадались разные: одни — совсем тонкие, почти без табака, от каких-нибудь дешёвых сигарет, другие — потолще, с привкусом горечи и смолы, от сигарет подороже. Он курил их жадно, затягиваясь глубоко, до кашля, и дым тёк в лёгкие тёплой, горькой струйкой, и на мгновение — только на мгновение — ему становилось легче, будто вместе с дымом выходила какая-то часть тоски. Бетонные ступеньки были ледяные, и холод от них поднимался по спине, как змея, но он сидел, потому что стоять уже не было сил, а лежать на улице было ещё хуже — там, на улице, можно было и не встать.

Сидя в полумраке подъезда, Серёга то дремал, то просыпался от холода, прислушиваясь к редким звукам ночного города: к отдалённому гулу мотора, к шагам где-то вдалеке, к скрипу дверей. Время тянулось медленно, и каждая минута казалась вечностью. Он ждал утра — того момента, когда можно будет выйти из укрытия, забрать вещи из тайника и попытаться что-то выручить за них. Но мысли его всё чаще возвращались не к краже и не к деньгам, а к дому — к месту, где его никто не ждал.

Запах «Шипра» был для него не запахом, а сигналом. Если в прихожей пахло одеколоном — значит, отец дома, значит, надо тихо, значит, гроза: любое движение могло кончиться одинаково, и заранее было неизвестно чем. Он мог определить отца по запаху с прихожей — и у него оставалось три-четыре секунды на то, чтобы стать невидимым: снять ботинки без звука,

пройти в комнату, закрыться. Эти секунды он берёг, как берегут спички в ветреный день. Под лампой в сорок ватт мать штопала, ковыряла, шуршала газетой — и молчала. Молчание было её главным языком, и Сергей выучил его лучше родного: по тому, как она поднимала бровь, по тому, как ставила чашку — со звоном или без, по тому, как переставляла тарелку — близко к краю или подальше, — он читал, что будет вечером и можно ли выходить из комнаты. Это была целая наука, и он владел ею в совершенстве, как владеют родным языком те, кому не дали другого.

В семье из четырёх он был пятый: тот, о ком говорят «он», не называя по имени, тот, за кем не закрепили ни комнаты, ни места за столом, ни обязанностей — только вину. В альбоме была фотография: отец, мать, два брата на фоне ковра с оленями. Сергея на снимке нет — он в детсаду в тот день, или болел, или ещё не родился, — но альбом так и остался стоять на полке с этой четвёркой, и никто не сказал: «надо переснять». Фотография стала его личным паспортом ненужности: он её не вытаскивал, не разглядывал, не плакал над ней — просто помнил. Помнил, что там, где он должен был быть, пустое место, и это место никого не смущало. Дети часто придумывают себе объяснения, которые спасают: он болел, значит, не успели. Сергей тоже придумывал — годами, — и объяснение держалось, пока он не вырос достаточно, чтобы понять: объяснений не было. Было просто место, которое никто не счёл нужным занять.

Дом, где никто не ждал, был пятиэтажный, серый, с теми же потёками на стенах, что и у барака, и Сергей, глядя на него издалека, думал, что дома снаружи все похожи: серые, с окнами, с балконами, где сушится бельё, — а внутри у каждого своя погода. У кого-то — тёплая, у кого-то — как в его доме: сырость, равнодушие и ожидание грозы. Он подходил к своему подъезду всегда с одной и той же процедурой: сначала слушал — нет ли за окном знакомого силуэта, потом смотрел на окна — горит ли свет, потом шёл — и с каждым шагом сердце стучало всё выше, пока не упиралось в горло. Потом дверь, лестница, площадка, замок — и тишина, в которой надо было жить до следующего раза.

С братьями у него была странная связь: не близость, не дружба, а что-то среднее между сосуществованием и соперничеством. Старший — Мишка — иногда защищал его во дворе, если доставалось от чужих, но дома молчал: молчал, когда отец наказывал, молчал, когда мать молчала, молчал всегда, когда молчать было безопаснее, чем заступиться. Младший — Лёшка — ещё не понимал всего, но уже понимал главное: Серёгу дома не любят, и подражать ему — значит, разделить его судьбу. Поэтому Лёшка держался от него вежливо и на расстоянии, как держатся от больного: с жалостью, но не подпуская близко. Сергей не держал на них зла — не потому, что был святым, а потому, что зла не хватало: оно уходило на выживание, на холод, на голод, на замок на двери.

Быть незаметным он выучился в этом доме лучше, чем чему-либо ещё. Он знал, какие половицы скрипят — вторая от двери, седьмая у окна, — и перешагивал их; знал, в котором часу мать встаёт по ночам пить воду — в час сорок, всегда в час сорок, — и не шуршал в это время; знал, что если отец храпит — можно ходить, а если тишина — сидеть. Эта наука была его второй грамотой, и он писал её ежедневно, без ошибок, потому что ошибка стоила дорого. Иногда он думал: вот если бы эти таланты можно было показать на конкурсе — на каком-нибудь конкурсе выживания, — он бы занял первое место, и ему дали бы грамоту, и грамоту бы повесили дома, на стену, и мать посмотрела бы на неё и не сказала ничего. И он понимал, что грамоты не будет, и не было ни конкурса, ни места, где его умения были бы не нужны.

По воскресеньям отец сидел у телевизора и смотрел футбол — и в эти часы весь дом менялся: тише становились шаги, глуше голоса, и даже мать двигалась по кухне на цыпочках, хотя отец не запрещал шуметь — он просто смотрел, и его смотрение было сильнее любых запретов. Сергей учился определять по первым минутам, какая будет игра: если забьют рано — отец будет доволен и вечер пройдёт спокойно; если пропустят — лучше уйти в комнату и не

выходить до конца матча. Эта наука прогнозов была точнее любой метеорологии, и ошибалась она реже, чем ошибались взрослые, которые говорили, что погоду предсказать нельзя.

**Глава 3. Дом, где никто не ждал**

Семья у него была вроде бы и не совсем пропащая: отец — начальник, человек строгий и требовательный, мать — уборщица, вечно уставшая и равнодушная. Но тепла в этом доме не было. Мать никогда его не жалела, не гладила по голове, не спрашивала, как прошёл день. Наоборот, она будто видела в нём источник всех бед: если что-то ломалось, пропадало или шло не так, виноватым всегда оказывался он, даже если на самом деле виноват был старший брат. Отец же не тратил слов на объяснения — он сразу наказывал, считая, что строгость воспитывает характер. И от этой несправедливости в груди у Серёги всё время стояла тупая, тяжёлая боль, которую он старался не замечать, потому что замечать её было слишком больно.

Однажды, когда отец приехал с вахты, Серёга сидел за столом и делал уроки — или делал вид, что делал, потому что голова была пустая и тяжёлая одновременно. Отец прошёл мимо, остановился, посмотрел на тетрадь.

— Это что? — спросил он, ткнув пальцем в страницу.

— Математика, — ответил Серёга.

— Двойка?

— Тройка.

— Тройка — это не оценка. Тройка — это значит, что ты не старался. — И ушёл, и больше ничего не сказал, и от этого «не старался» стало обидно, потому что он старался — просто не получалось, потому что не было сил, потому что не ел нормально, потому что не спал, потому что боялся.

А мать сидела на кухне и курила, и не вмешивалась. Она никогда не вмешивалась, когда отец говорил с Сергеем, — будто между ней и этим разговором была стеклянная стена, через которую видно, но не слышно. Или не хочется слышать.

Отец работал на каком-то предприятии — не маленьком, не последнем в городе, и должность у него была не из последних. Люди его уважали, а может, побаивались — он умел быть жёстким, говорить коротко и весомо, и его слово в спорах ставилось точкой. Дома он был таким же: немногословным, суровым, с лицом, которое редко улыбалось. Когда он приезжал с вахты, в доме всё словно замирало — даже мать становилась тише, даже братья старались не шуметь. Он был как грозовая туча, которая висит над домом и не знаешь — пронесёт или грохнет.

Мать была другая. Она не кричала, не била — она просто была равнодушна. Равнодушие её было ровным, постоянным, как фоновый шум, к которому привыкаешь и перестаёшь замечать. Она могла накормить, могла одеть — но делала это так, будто выполняла повинность, а не проявляла заботу. Ни одного тёплого слова, ни одного прикосновения, ни разу — «молодец», «хорошо», «я горжусь тобой». Будто Серёга был не её сын, а чужой ребёнок, которого зачем-то оставили у неё и которого она вынуждена терпеть. И это равнодушее было хуже, чем злость, хуже, чем крик — потому что с криком хотя бы ясно: тебя видят, тебя замечают. А равнодушие — это как если бы тебя не было.

Был один случай, который Серёга запомнил навсегда, хотя ничего особенного в нём не было. Он пришёл из школы с разбитой коленкой — упал на льду, порвал штаны, и колено кровоточило, и было больно. Он зашёл на кухню, где мать мыла посуду, и сказал:

— Мам, я колено разбил.

Она обернулась, посмотрела — мельком, как смотрят на муху, которая села на стол, — и сказала:

— Подуй и пройдёт. И штаны зашей, я тебе новые не куплю.

И отвернулась к раковине. Подуй и пройдёт. Серёга стоял, смотрел на её спину — сутулую, в застиранном халате, — и думал: вот. Вот и всё. Подуй и пройдёт. И он пошёл, и подул,

и зашил, и прошло. Только не колено — прошло что-то другое, последняя ниточка, которая ещё держала его в этом доме.

А старший брат — тот мог сделать что угодно: разбить окно, принести двойку, даже подраться с кем-то — и всё сходило. Мать отмахивалась, отец ворчал для вида, и на этом всё заканчивалось. А если Серёга просто оказывался рядом, когда что-то пошло не так — виноват был он, автоматически, как будто вина была вшита в него с рождения, как ярлык на одежде, который нельзя оторвать.

Из-за этого Серёга начал сбегать из дома очень рано. Первый раз он ушёл, когда ему было всего шесть лет, — тогда он ещё ходил в детский садик. В ту ночь он пришёл в свою группу, лёг на маленький коврик в углу и уснул, прижавшись к холодной стене. Ему казалось, что там, среди знакомых игрушек и шкафчиков, он хотя бы ненадолго почувствует себя в безопасности. Но даже это убежище было лишь временной передышкой, и от этого становилось особенно жалко того маленького мальчика, которым он когда-то был, — мальчика, которому просто хотелось, чтобы его обняли и сказали, что всё будет хорошо.

Шесть лет — возраст, когда другие дети боятся темноты в коридоре и спят с ночником. А Серёга боялся дома. Он помнил тот первый побег смутно, как сквозь воду: помнил, что было темно, помнил, что он шёл босиком по холодному полу, помнил, что дверь квартиры была не заперта — может, мать забыла, может, просто не обратила внимания. Он вышел на лестницу, спустился, вышел на улицу — и пошёл. Маленький, в одной пижаме, босиком по асфальту, и ему было страшно, но идти домой было страшнее. Он добрался до детского сада — тот был недалеко, через два двора — и каким-то образом нашёл открытую дверь. Лёг на коврик, свернулся, как щенок, и заснул. Утром воспитательница нашла его и, кажется, вызвала мать. Что было потом — он не помнил. Может, и хорошо, что не помнил.

С тех пор побеги стали для него чем-то привычным. Он редко бывал в компаниях, почти ни с кем не сближался: слишком боялся, что и там его не примут, будут винить и отталкивать. Большую часть времени он проводил в одиночестве, изучая город, находя укромные уголки, где можно спрятаться и перевести дух. Жизнь его была совсем не сладкой — скорее горькой, с привкусом холода, сырости и чужой несправедливости. И всё, что он умел, — это выживать. Но в глубине души он всё ещё хранил тихое, почти стыдное сожаление о том, что выживать приходится именно так — в темноте, в холоде, в одиночестве, когда рядом нет никого, кто просто протянул бы руку и помог поднять.

Он знал каждый двор, каждый закоулок, каждый подвал, каждый чердак — весь город был для него картой убежищ. Он знал, в каком подъезде не закрывается дверь на ночь, в каком подвале сухо и нет сквозняка, на каком чердаке есть старые матрасы, брошенные кем-то из жильцов. Он знал, в каком магазине продавщица не смотрит по сторонам, а в каком — бдительная, и туда лучше не заходить. Он знал город, как знает его только тот, для кого город — не место жительства, а поле боя, где каждый день нужно выживать. И при этом ему не было ещё и тринадцати.

План с верёвкой он репетировал мысленно десятки раз: вот тут снимаешь пиджак, чтобы не цеплялся, вот тут открываешь форточку до конца, чтобы не зацепилась ручка, вот тут ставишь стул к стене, чтобы не заскрипел, если понадобится второй. Он продумывал каждую мелочь, как сапёр продумывает провод: одна ошибка — и всё. Ночью, лёжа на кровати, он гонял этот план в голове, как гоняют кино: вот здесь хватаюсь, здесь переставляю руки, здесь спускаюсь до второго этажа, здесь прыгаю в сугроб — снег мягкий, выдержит. Он не знал, выдержит ли; он не знал ничего, кроме того, что оставаться в комнате, когда придёт отец, — это значило остаться наедине с чем-то, перед чем побег был спасением. Верёвку он проверил: отмерил на глаз от батареи до подоконника, потом от подоконника вниз — на глаз четыре этажа. Верёвки не хватало, но он не думал об этом — не потому, что не понимал, а потому, что понимание было страшнее самой высоты, и психика надёжно спрятала его от этого знания.

В приёмном покое пахло йодом, мокрой шерстью и чем-то больничным, от чего хотелось зажмуриться. Светила лампа без плафона, и хирург — высокий, уставший, с руками, которые устали не от операции, а от жизни, — склонился над ним и спросил: «Ну что, герой, летал?» Сергей не ответил, потому что ответ был очевиден, а слов для него не было. Он лежал и думал не о боли — о том, как жалость к нему выглядит со стороны: жалость — это когда на тебя смотрят сверху вниз, и от этого взгляда становится только хуже. Настоящая помощь — это когда руку протягивают снизу вверх, как вытаскивают из воды. Так ему никто не протянул — ни тогда, ни позже, ни когда он лежал со сломанными ногами, ни когда полз через микрорайон, оставляя на снегу тёмный след. Он запомнил это навсегда и потом, уже взрослым, старался ни о ком не жалеть по-настоящему — потому что знал, как жалость пахнет сверху.

После побега и больницы было несколько недель тишины — той самой, которой он боялся больше всего, потому что тишина перед грозой громче самой грозы. Он ходил в школу — что было странным, потому что до побега не ходил месяцами, — сидел за партой, смотрел на учительницу, на доску, на Олю, и всё это было как сон, в котором ты знаешь, что проснёшься, и не хочешь просыпаться. Одноклассники не спрашивали про ноги — знали или догадывались, но молчали, и в этом молчании была первая солидарность, которую он встретил за всю жизнь: они не выспрашивали, не дразнили, не сочувствовали на публику — просто молчали, и этого было достаточно, чтобы он чувствовал себя среди них не совсем чужим.

Водитель автобуса — тот самый, что говорил «конечная» — иногда возил его бесплатно: замечал на остановке, открывал дверь, кивал на заднее сиденье. Они не разговаривали — только один раз, зимой, когда дороги занесло и маршрут отменили, водитель сказал: «Садись, довезу до развилки», — и они ехали молча двадцать минут, и Сергей смотрел, как водитель держит руль — спокойно, уверенно, как держат то, что им принадлежит, — и думал: вот так должны держать жизнь. Не хвататься, не бояться, а держать. Он запомнил эту поездку на всю жизнь — не потому, что было тепло, а потому, что впервые увидел взрослого человека, который не был ни злым, ни равнодушным, а был просто нормальным, и это было открытие, как открытие целого материка.

В школе после больницы на него смотрели — не все, но многие: учителя смотрели так, как смотрят на то, о чём слышали слухи; дети — как смотрят на то, что отличается. Он держался ровно, не отвечал на взгляды, делал уроки — что было новостью для учителей, потому что раньше он делал их редко, — и эта дисциплина была не желанием учиться, а желанием быть незаметным: отличников не трогают. Он ошибался: отличников не трогают дома, где нормальные родители, а в его доме всё было наоборот — чем незаметнее, тем подозрительнее.

На улице он шёл мимо остановки, где стояли его сверстники — компания из пяти-шести человек, которые ждали автобус и хохотали над чем-то своим, — и он замедлил шаг, послушал, о чём они, и пошёл дальше. Он не подошёл — не потому, что стеснялся, а потому, что знал: компания — это система со своими входами, и зайти в неё с улицы нельзя, как нельзя войти в чужой дом без стука. Он был снаружи, и быть снаружи было привычно, но привычность не делала это легче: снаружи было холоднее, и снаружи было тише, и от этой тишины хотелось кричать.

**Глава 4. Задержание и побег по верёвке**

Серёга шёл по улице, и утро было таким ясным, таким свежим, что на секунду показалось: всё хорошо. Солнце било в глаза, снег хрустел, и где-то на крыше каркала ворона, и этот звук был таким обычным, таким будничным, что Серёга почти забыл, что у него нет дома. Но потом ветер дунул — резкий, холодный, — и куртка не удержала тепло, и память вернулась, и он снова вспомнил, кто он и где он.

По дороге он встретил мужика — пожилого, в телогрейке, с ведром в руке. Мужик посмотрел на него — внимательно, остановился, и Серёга напрягся, ожидая вопросов. Но мужик просто сказал:

— Мороз-то сегодня какой. Оденься потеплее, парень.

И пошёл дальше, и Серёга смотрел ему вслед, и от этих простых слов — «оденься потеплее» — стало тепло и горько одновременно. Не потому что совет помог — куртки потеплее у него не было. А потому что кто-то сказал ему что-то по-человечески. Просто так. Без причины.

Утро было морозное, ясное — после ночной низости небо наконец-то прояснилось, и солнце, низкое и тусклое, как настольная лампа с почти севшей батарейкой, едва поднималось над крышами. Снег хрустел под ногами, скрипел, как новый кожаный ремень, и этот звук был таким обычным, таким будничным, что Серёга на секунду забыл, где он и что он тут делает. Но только на секунду. Дети шли в школу — с рюкзаками, с портфелями, с мамами, которые провожали их до угла и кричали вслед: «Шарф надень!» — и от этого крика у Серёги что-то сжалось внутри, потому что ему никто никогда не кричал вслед: ни «шарф надень», ни «будь осторожен», ни «я тебя люблю». Никто. Он шёл мимо, и его не замечали, как фонарный столб, как урну, как часть уличного пейзажа.

Время уже было около десяти. Сергей пошёл к своему схрону, откопал вещи из схрона, взял и пошёл в назначенное место. На назначенном месте, как удачно, у него стояли таксисты, которые не задавали лишних вопросов. Он удачно всё продал. Без всяких лишних вопросов. Значит, сегодня он не будет голодать. У него будет что поесть. Эта мысль грела, но совсем чуть-чуть, как слабый огонёк в большой холодной комнате: он давал немного света и тепла, но не мог согреть всё пространство вокруг.

Таксисты стояли на обычном месте — у обочины, возле ларька, где продавали сигареты и газировку. Два мужика, немолодых, с обветренными лицами и руками в масле, курили и о чём-то негромко переговаривались. Серёга подошёл, показал узел. Один из таксистов — тот, что постарше, с бородой, прокуренными усами и глазами, которые смотрели устало, но по-доброму — поковырялся в вещах, повертел циркулярку, подёргал насос. Кивнул. Достал деньги — не много, но достаточно: на хлеб, на молоко, на пачку сигарет, и ещё останется. Серёга взял деньги, сунул в карман, кивнул в ответ и пошёл. Никаких разговоров, никаких «откуда взял», никаких взглядов. Таксисты знали его — не по имени, а по делу: приходил, приносил, получал. И всё. И от этой деловой, безразличной простоты Серёге было одновременно легче и тяжелее: легче — потому что не надо врать, тяжелее — потому что никому не было дела до того, почему тринадцатилетний мальчишка торгует краденными инструментами.

Второй таксист — помоложе, без бороды, с сигаретой в зубах — посмотрел на вещи, повертел насос в руках и спросил:

— Откуда?

— Нашёл, — коротко ответил Серёга.

— Нашёл, — повторил таксист и усмехнулся, и в этой усмешке было всё: и понимание, и усталость, и что-то ещё, что-то вроде: «Я знаю, что ты не нашёл, но мне всё равно».

— Двадцать рублей дам за всё, — сказал он.

— Тридцать, — ответил Серёга, и голос его не дрогнул, потому что он давно научился торговаться — не от жадности, а от необходимости: каждые десять рублей — это два дня еды.

— Двадцать пять, — сказал старший, и протянул деньги, и Серёга взял, и кивнул, и пошёл, и таксисты остались стоять у ларька, курить и смотреть ему вслед, и младший сказал тихо:

— Жалко пацана.

— Не жалей, — ответил старший. — Жалость ему не поможет. Помогли бы — помогли бы. А жалость — она как подорожник: прикладывают, а толку ноль.

Да, Сергей очень рано начал курить. Но это уже только для того, чтобы подражать, чтобы казаться взрослым, самостоятельным. Не то чтобы ему прям так нравилось это занятие — курить. Но ему приходилось очень рано взрослеть. Он пошёл на рынок, чтобы купить что-нибудь перекусить с утра. И на его невезение ему по дороге попалась мать, которая схватила

его за руку и потянула домой. Это не от того, что она его любила. Вот она силой еле как довела его до дома. Отправила помыться. Сергей помылся. Единственная была радость, что не было дома отца, потому что Сергей понимал, что если дома был бы отец, отец его сильно избил бы. Всё, Сергей прошёл в комнату, где мать его закрыла на щеколду. Двери всегда закрывались на все ключи, чтобы Сергей никак не убежал. И вот так он жил один в комнате. Братьев к нему не пускали. Братья жили в другой своей комнате. Телевизор он не смотрил. Периодически мать ему давала поесть. Вот так он прожил несколько дней в мыслях о том, что скоро приедет папа. И от этих мыслей ему становилось только хуже. Он знал, чем всё закончится.

Курить он начал, наверное, лет в девять или десять — сначала стрелял окурки у подъезда, потом, когда появились кое-какие деньги, покупал самые дешёвые сигареты, без фильтра, горькие, как полынь. Курить ему не нравилось — не было в этом ни удовольствия, ни наслаждения. Но сигарета в руке делала его чуть старше, чуть солиднее, и мальчишки на улице смотрели на него уже не как на мелкого, а как на равного. Он курил, кашлял, и кашель был его платой за иллюзию взрослости — платой, которую он платил охотно, потому что настоящей взрослости ему хотелось больше всего на свете. Настоящей — не той, которая в сигарете, а той, когда можно самому решать, куда идти, что есть, с кем говорить. Но до этой взрослости было ещё далеко.

А мать... Она схватила его прямо на улице, у рынка, — он даже не успел сообразить, что происходит. Её рука была жёсткая, сухая, сильная — рука женщины, которая всю жизнь работала физически, мыла полы, таскала вёдра, и от этой работы её руки стали крепкими, как верёвки. Она не сказала ни слова — просто потащила, как волокут непослушного телёнка на привязь. Серёга не сопротивлялся — не потому, что согласился, а потому, что сопротивляться было бесполезно: она была сильнее, и, главное, она была мать, а мать может всё. Даже то, чего не должна бы.

Комната, куда его заперли, была маленькая — метров десять, с окном, выходящим на четвёртый этаж, с кроватью, столом и шкафом. Он знал здесь каждый угол: трещина на стене, похожая на молнию; пятно на потолке от протечки; царапина на двери, которую он когда-то, давно, в детстве, оставил гвоздём. Это была его камера. Он жил здесь, спал здесь, ел здесь — один. Братьев к нему не пускали, и он к ним не просился. Он просто лежал на кровати, смотрел в потолок и считал дни. Дни тянулись, одинаковые, серые, как лагерные нары. Мать приносила еду — молча, ставила тарелку на стол, уходила, закрывала щеколду. Никаких разговоров, никаких вопросов, никакого «как ты». Только тарелка и звук закрывающейся двери. И от этой тишины хотелось выть.

Он услышал ключи — этот звук он знал наизусть, как знаешь звук будильника, от которого просыпаешься с сердцем в горле. Ключ провернулся, щёлкнул замок, и Серёга понял: приехал. Он замер, как заяц, услышавший лай собак. Сердце заколотилось так, что он чувствовал его в горле, в висках, в кончиках пальцев. Отец прошёл в коридор — Серёга слышал его шаги, тяжёлые, размеренные, как удары маятника. Потом — голос матери, тихий, быстрый, что-то про чай, про дорогу. Потом — тишина. И в этой тишине Серёга понял: сейчас или никогда. Он не будет ждать, пока отец закончит пить чай, встанет, пройдёт в комнату и... Он не будет ждать. Он перехватил взглядом бельевую верёвку — она лежала в шкафу, свернувшись кольцами, как змея. Вытащил, намотал на руку. Открыл форточку — та поддалась со скрипом, и Серёга замер, прислушиваясь: не услышал ли отец? Нет, вроде не услышал. Он привязал один конец к батарее — узел был кривой, но крепкий, он умел вязать узлы, научился давно, по жизни. Другой конец выбросил в форточку — верёвка сплеснулась вниз, как хвост, и закачалась в воздухе. Серёга посмотрел вниз — четыре этажа, земля далеко, как дно колодца. Но внизу — свобода. А сзади — дверь, за которой отец допивает чай, и после этого...

Он влез на подоконник, высунулся наружу и перехватил верёвку. Верёвка обожгла ладони мгновенно — больно стало не сразу, а через несколько секунд, когда кожа уже начала пузы-

риться, и тогда боль ударила, как кипяток, как раскалённое железо, — такая, что он чуть не закричал. Но не закричал — зубы стиснул и ехал вниз, сантиметр за сантиметром, и руки скользили по верёвке, и кожа слезала, как перчатка с руки, и он чувствовал это, и всё равно не отпускал, потому что внизу — земля, а наверху — отец. На третьем этаже он остановился, встал ногами на парапет соседского окна — руки горели так, что он больше не мог держаться, и он отпустил верёвку, чтобы посмотреть на ладони. И в эту секунду — полёт. Короткий, мгновенный, без мыслей, без страха — просто земля рванулась навстречу, и удар пришёлся в ноги, в обе ноги сразу, и боль была такой, что мир почернел, провалился, как экран телевизора, из которого выдернули шнур. Он лежал в снегу, в заливке вокруг дома, и ноги не слушались — не двигались, не сгибались, просто лежали, как чужие, как два бревна, приставленных к телу. Но он не закричал. Он не позвал на помощь. Он встал на колени — и боль рванула снова, но он стерпел, стиснул зубы так, что они заскрипели, — и пополз. Через двор, через дорогу, через другой двор, через микрорайон — полз, как раненый зверь, оставляя на снегу след из проталин и крови из ободранных ладоней. До дома друга было далеко — может, километр, может, полтора — он не помнил. Помнил только снег, боль, и ещё — что было стыдно, что кто-нибудь увидит его таким. Он приполз, постучал в дверь — чем? кулаком? ладонью? он не помнил — и когда дверь открылась, и на пороге стояла женщина, мать его одноклассника, и смотрела на него сверху вниз с ужасом и жалостью, — только тогда он отключился. Просто выключился, как выключают свет.

Отец рассказывал это потом — может, не Серёге, может, кому-то из близких, а Серёга узнал из чужих уст, пересказанное, как легенда. Отец сидел за столом, пил чай с бутербродами, которые ему накрыла мать, — чай был горячий, с лимоном, бутерброды с колбасой, всё как всегда, — и когда зазвонил телефон, он снял трубку, не подозревая ничего. Голос из трубки был ровный, казённый: «Приёмный покой больницы такой-то. Просьба приехать. Ваш сын, Хударев Сергей, доставлен с переломами обеих ног, ожогами ладоней». И отец — по его рассказу — замер. Поставил чашку. Посмотрел на мать. И спросил: «А где Сергей?» — как будто ничего не понял, как будто слова не сразу дошли. Мать ответила спокойно — слишком спокойно, как показалось Серёге, когда он потом об этом думал: «Да в комнате, наверное, ждёт. Боится». И тогда отец сказал: «Да нет, он уже в приёмном покое. С переломанными ногами и руками. Надо ехать его забирать». И встал, и пошёл к двери, и ни слова больше — ни «как это», ни «почему», ни «где он был». Просто встал и пошёл.

Такси ехало медленно, дороги были скользкие, и Серёга лежал на заднем сиденье, закутанный в какое-то одеяло, которое ему дали в больнице, с гипсом на обеих ногах и бинтами на ладонях. Отец сидел впереди, молчал, курил, опустив стекло, и дым уносило в морозный воздух. Ни одного слова за всю дорогу — ни «зачем», ни «как ты», ни «что ты наделал». Молчание. И в этом молчании было всё: и злость, и растерянность, и что-то ещё, чего Серёга не мог разобрать, потому что не знал своего отца достаточно хорошо, чтобы читать его молчание. Может, отец не знал, что сказать. Может, боялся, что если откроет рот — скажет что-то не то. А может, ему было всё равно. Серёга не знал. Он лежал, смотрел в потолок такси, и думал: я избежал. На этот раз — избежал. Но надолго ли?

На шпалах, между рельсами, было тише, чем в городе, и звёзды стояли так низко, что казалось — протяни руку, и они будут в ладони. Он лежал на спине, считал звёзды, сбивался на третьей десятке и начинал заново — не из любопытства, а чтобы не думать. Разговаривал с Богом он как с котом: тихо, без просьб, просто чтобы был кто-то рядом. «Слышь, — говорил он, — ты вообще есть или нет? Если есть — так скажи, а то я тут сижу, не знаю, что думать». Бог не отвечал, как кот, но Сергей от этого не обижался: коты молчат, и это нормально. Коты вообще никогда не отвечают, а сидеть рядом с ними всё равно хорошо — потому что они дышат и ты слышишь это дыхание. В ту ночь он впервые за долгое время заснул без дремоты — крепко, как засыпают те, кто наконец нашёл место, где никто не придёт и не разбудит.

Утром на шпалах был иней, и он лежал в нём, как в мелком снегу, и не сразу понял, где он. Рельсы блестели на солнце, и по ним издалека шёл грузовой состав — медленный, тяжёлый, с запахом металла и дизеля. Сергей смотрел на вагоны и думал: вот оно едет, едет куда-то, где наверняка теплее, где есть еда и люди, которые друг друга не бьют. А может, и не теплее — кто знает. Вагоны прошли, и снова стало тихо, и только под ногами гудели рельсы — долго, протяжно, будто земля отвечала на чей-то вопрос. Он встал, отряхнулся и пошёл дальше по обочине, и с этого утра началась его дорога — настоящая, без возврата, дорога, на которой он потом прошёл больше тысяч километров, чем иная железная дорога за всю историю.

На переправе он стоял у борта и смотрел на воду, которая текла под ним, тёмная, тяжёлая, с льдинами, — и думал, что вода не спрашивает, кто ты, вода просто течёт, и если ты на её пути, она несёт тебя, куда несёт всех. Это было успокоение и было приговор одновременно: успокоение — потому что не надо было решать, приговор — потому что решать за тебя уже решено. На другом берегу стояли машины, фары, люди, и все они куда-то ехали — к кому-то, зачем-то, — и он стоял среди них, как стоит вещь, которую забыли на перроне: стоит, ждёт, а никто не возвращается.

Историю — «приезжал к родителям на работу, не застал, возвращаюсь в город» — он репетировал, как репетируют стихотворение перед уроком: вслух, шёпотом, по дороге. Он выучил её так, чтобы не запнуться на деталях: в каком доме работают, где этот дом, как давно он там был. Ложь требовала дисциплины — он понял это быстро: соврать легко, а удержать ложь труднее, чем удержать мешок с картошкой, потому что из мешка не выпадают вопросы, а из лжи выпадают. Он держал версию в голове, как держат в голове даты и формулы перед экзаменом, — и это была его первая школа дипломатии, которую он закончил с отличием, хотя никто не ставил ему отметок.

Однажды на трассе его подвез дальнобойщик — молчаливый, в свитере с оленями, с термосом на пассажирском сиденье. Они ехали часа два, и дальнобойщик ни разу не спросил, кто он и куда. На развилке остановил, сказал: «Дальше не поеду, у меня отсюда налево», — и добавил: «Держись, малой». И Сергей вышел, и помахал рукой — не потому, что хотел, а потому, что так делали все, — и смотрел вслед фарам, которые уходили в темноту, и в этих фарах было что-то родное: они тоже ехали куда-то, у них тоже был маршрут, и маршрут у них был длиннее, чем у него.

К вечеру он доехал до развилки, где трасса уходила направо — к городу, — и налево — куда-то в степь, где не было ни огней, ни дорог, ни людей. Он стоял на развилке минут десять — не выбирая, а просто стоял, потому что выбор был сделан ещё утром, и выбор был простым: направо. Но стоять на развилке было приятно: это была точка, в которой ещё ничего не произошло, в которой можно было быть кем угодно — тем, кто пойдёт налево, тем, кто ляжет в сугроб и уснёт, тем, кто вернётся. Он выбрал направо — и пошёл, и развилка осталась позади, как остаются позади все развилки: незаметно, без прощания.

**Глава 5. Дорога в никуда**

Так его и звали в доме: «починить», «найти», «сбегать». Не по имени, не как сына, а как функцию, которую можно включить и выключить. Он не хотел уезжать, но другого выхода не было. Каждый раз, когда он пытался остаться, дом будто выталкивал его, как вода выталкивает щепку, которая мешает течению. И в этом отталкивании было что-то механическое, равнодушное: не злоба даже, а отсутствие места, где бы он мог просто быть.

Имя у него было, конечно. Сергей. Мать с отцом произносили его редко — только когда нужно было позвать для дела, поручить что-то, прикрикнуть. В остальное время обходились безымянными командами: «поди сюда», «принеси», «убери», «выйди». Как будто он был не человек, а что-то среднее между домашним животным и инструментом: когда нужен — зовут, когда не нужен — забывают в углу. И он привыкал. Привыкал откликаться на оклик, прихо-

дить, делать, уходить. Привыкал, что его имя — это что-то лишнее, что-то, что висит в воздухе без адресата, как письмо, которое некому прочитать.

Решение уйти созрело не сразу. Оно копилось, как вода за плотиной: понемногу, изо дня в день, из обиды в обиду, из равнодушия в равнодушие. Он и сам не помнил, когда именно понял: надо. Может, после того, как отец в очередной раз поднял руку, а мать отвернулась к окну, будто ничего не происходит. Может, после того, как просидел запертый в комнате несколько дней и понял, что если останется здесь ещё хоть на день — задохнётся. А может, просто в какое-то утро проснулся, посмотрел на потолок с его трещиной-молнией, и понял: всё. Пора.

Вскоре «Икарус» довёз пассажиров до переправы из Стрижевого в Нижневартовск — дальше он не ходил. Серёга вышел первым, будто боялся, что если задержится хоть на минуту, то кто-то окликнет, спросит, куда он, зачем, один ли он. А он не хотел отвечать. Не потому что лгал, а потому что правда была слишком тяжёлой, чтобы произносить её вслух.

«Икарус» был старый, жёлтый, с потрескавшимися стёклами и сиденьями, обтянутыми чем-то, что когда-то было кожзаменителем, а теперь стало просто рваной тканью, набитой жёлтым поролоном. В салоне пахло бензином, потом и застарелой пылью. Серёга сидел у окна и смотрел, как за стеклом проплывает зимний пейзаж: однообразный, серый, лишь изредка оживляемый столбами да редкими домами. Дорога шла через лес, и деревья стояли по обе стороны, как молчаливая стража, — голые, чёрные, покрытые инеем. Он не думал ни о чём конкретном — просто смотрел и старался не думать о том, что оставляет позади. Потому что оставлять было нечего.

На переправе через речку Вахту никто не задавал вопросов — тут привыкли к молчаливым людям, к тем, кто спешит, к тем, у кого в глазах застыл вопрос, который они не решаются задать вслух. Было холодно. Лёгкая изморозь висела в воздухе, оседала на куртке мелкими кристаллами, и казалось, что сама весна ещё не решила, приходить ей или нет. Она стояла где-то на краю горизонта, робкая, неуверенная, и только по едва заметному смягчению ветра можно было догадаться, что зима потихоньку сдаёт позиции. Но даже это смягчение не несло тепла — скорее, оно было похоже на осторожное, почти виноватое отступление, после которого холод всё равно вернётся.

Переправа была простая: паром, ходивший туда-сюда через широкую, тёмную, неприветливую реку. Вода в ней была цвета крепкого чая — торфяная, северная, и даже в оттепель она выглядела так, будто в ней нет ни капли тепла. Серёга стоял на пароме, втиснувшись среди машин и людей, и ветер с реки бил ему в лицо, забирался под куртку, и он снова ёжился, снова кутался, снова думал: когда же это кончится? Когда хоть раз станет тепло не на пять минут, а по-настоящему, надолго?

Он зашёл в придорожное кафе — маленькое, с облупившейся вывеской и пластиковым столиком у окна, где стекло было заклеено скотчем в нескольких местах. Взял стаканчик «три в одном», сладкий, почти приторный, и медленно пил, чувствуя, как тепло понемногу растекается внутри, но не доходит до самых дальних, самых замёрзших уголков. Он поглядывал на водителей, которые заходили погреться, выпить кофе, перекинуться парой слов с хозяйкой. В голове у него уже сложилась аккуратная, выверенная история: будто приезжал к родителям на работу, не застал их и теперь возвращался в город. Он повторял её про себя, как молитву, чтобы не сбиться, не запнуться, не выдать голосом ту самую дрожь, которая появлялась всякий раз, когда приходилось врать. Но подходящего случая не выпадало: одни спешили, другие смотрели сквозь него, третьи сразу уходили, не задерживаясь. В этом равнодушии была своя жестокость, но и своя защита: никто не спрашивал лишнего, никто не пытался заглянуть глубже.

Хозяйка кафе была женщина немолодая, полная, с добрыми, усталыми глазами. Она посмотрела на Серёгу — мельком, без интереса — и отвернулась к стойке. Может, видела таких, как он, каждый день: худых, замёрзших, с глазами, которые смотрят куда-то мимо тебя,

и с руками, которые всё время что-то теребят — край куртки, стаканчик, ремень. Может, ей было всё равно. А может, она просто знала, что спрашивать бесполезно: всё равно не ответит. Или ответит — но тем, что хочется услышать, а не тем, что есть на самом деле.

Серёга пил кофе и смотрел на дорогу. За окном машины проносились мимо, и каждая — туда, куда-то, к кому-то, к дому. А он сидел, и ему некуда было ехать, и некого было ждать. Хозяйка кафе вытерла стойку, посмотрела на него и вдруг спросила: «Ты откуда, парень?»

— Из Стрижевого, — ответил он, и это было правдой, и от этой правды стало горько, потому что Стрижевой был уже далеко, и дом там был, но дома — не было.

— Один? — спросила она.

— Один, — ответил Серёга.

— Далеко же ты, — сказала она, и ничего больше. Не спросила, зачем, куда, почему. Просто — «далеко». И Серёга подумал: вот, значит, как реагируют нормальные люди на нормальную беду. Не пугаются, не вызывают милицию, не читают нотаций. Просто — «далеко». И от этого простого слова стало теплее, чем от кофе.

Допив кофе, он вышел на трассу. Уже смеркалось. Ночь подступала осторожно, как хищник, который сначала пробует воздух, прежде чем сделать шаг. Машины проезжали редко, их фары на мгновение выхватывали из темноты его фигуру, а потом снова оставляли в темноте, будто и не было его вовсе. Он шёл по обочине, чувствуя, как холод забирается под куртку, как стынут пальцы, и время от времени пытался остановить попутку, вытягивая руку, стараясь выглядеть не отчаявшимся, а просто обычным парнем, которому нужно доехать.

По дороге он думал о том, что когда-нибудь всё обязательно будет хорошо. Когда-нибудь он перестанет скитаться по чердакам и подъездам, прятаться от консьержек, собирать газеты, чтобы хоть немного защититься от сырости. Когда-нибудь у него будет комната — может, маленькая, может, не очень тёплая, но своя, с дверью, которую он сам будет открывать и закрывать, и никто не запрёт его снаружи. На стене будет висеть полка, на полке — книги или что-нибудь ещё, что он выберет сам, потому что захочет, а не потому что ему дадут. И он будет ложиться спать, и засыпать, и знать, что завтрашний день — его, и никто не решит за него, как его прожить. Эта картинка вставала перед глазами яркая, живая, почти осязаемая — и каждый раз, когда он к ней возвращался, ему становилось одновременно легче и тяжелее: легче — потому что была надежда, тяжелее — потому что надежда была далеко, а он стоял на обочине тёмной трассы, с окоченевшими руками и пустым желудком.

Он был добрым человеком — по-своему, тихо, без лишних слов. Но временами в нём поднималась горькая обида на других, на тех, у кого всё складывалось удачно, кто не знал, каково это — быть лишним в собственном доме. Тех, у кого мать спрашивает «как дела» и ждёт ответа, у кого отец учит ездить на велосипеде и не бьёт за разбитое колено, у кого дома пахнет едой, а не равнодушием. Эта обида была тихая, неядовитая — он не желал никому зла, просто не понимал: почему им — а не мне? Чем я хуже? Что я сделал не так? И не находил ответа, потому что ответа не было: ему было шесть лет, когда всё началось, и он точно не мог быть виноват в том, что его не любили.

Казалось, будто Господь ему ничего хорошего не отмерил: ни ласки, ни простого добра, ни даже той самой тихой уверенности, что тебя ждут. Хотя попадались и хорошие люди: иногда кто-то пускал его переночевать, давал кусок хлеба, тёплый плед, говорил пару добрых слов. Но утром всё равно решали, что лучше сдать его в милицию, чтобы там что-нибудь решали. А милиция лишь отправляла его обратно домой, к родителям, которые при сотрудниках держались прилично, всё выглядело нормально, спокойно, достойно. Но стоило двери закрыться и милиции уйти, как маска спадала, и воздух снова становился тяжёлым, будто сам дом выдыхал напряжение, которое копилось всё это время.

Это было худшее — не побои, не крик, а вот это: представление. Спектакль, в котором его семья играла роль нормальной, а он — роль ребёнка, которому просто не повезло с харак-

тером. Милиционеры смотрели сочувственно, говорили матери: «Ну, мамочка, поговорите с сыном, ему внимание нужно», — и мать кивала, улыбалась кривой, дежурной улыбкой, говорила: «Конечно, обязательно». А отец стоял в коридоре, сложив руки на груди, и молчал, и в глазах у него было не беспокойство, а расчёт: ждёт, когда уйдут, чтобы заняться «воспитанием». И Серёга это знал, стоял рядом с матерью, кивал, говорил «да, я понял», «да, я больше не буду», и всё это время считал минуты до того момента, когда дверь закроется и маска спадёт. И дверь закрывалась. И маска спадала. Каждый раз — один и тот же сценарий, как заезженная пластинка.

Лось вышел на просеку так спокойно, будто был здесь хозяином, а все остальные — гости без приглашения. Он посмотрел на Сергея — не испуганно и не агрессивно, а оценивающе, как смотрит домовладелец на гостя, который пришёл без звонка. И Сергей понял вдруг простую вещь, от которой защипало в глазах: лося никто не бил, лося никто не запирал, лось никому не должен. Он просто живёт, и тайга — его дом, не потому, что он её заслужил, а потому, что она его приняла. Сергей стоял и завидовал зверю — не рогам, не силе, а праву быть. Право быть — это когда ты можешь стоять на своём месте, и никто не скажет: поди отсюда, ты тут лишний. У лося это право было. У Сергея не было нигде — ни в доме, ни в школе, ни на улице, где он был только гостем, пока его не выгоняли.

В посёлке он осмотрелся быстро, как разведчик, который умеет смотреть, не выдавая, что смотрит: кто где живёт, кто чем дышит, где печная труба дымит, где не дымит. По дымам он читал посёлок, как по карте читают местность: вот дом, где живут по-человечески — дымит ровно, и во дворе вычищен снег; вот дом, где пьют — дымит, но окна залеплены газетами; вот дом, где пусто — не дымит, и дверь прикрыта ветром. Он знал, что эта наука понадобится ему в жизни чаще, чем таблица умножения, и не ошибся.

Тайга ночью менялась — днём она была лесом, ночью становилась существом: дышала, шуршала, вздыхала, и в её дыхании были голоса, которые он не всегда различал. Одни голоса были безобидные — мышки под снегом, сова на суку, — другие были незнакомые, и от незнакомых он останавливался и слушал, пока сердце не отстучит и не станет ясно: угрозы нет, иди дальше. Он знал тайгу, как знают родной двор, — но тайга была больше двора, и в ней всегда оставалось то, что он не знал, и это «не знал» держало его в тонусе, как держит в тонусе шахматиста партия, в которой он пока не проиграл.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.